

Ово задремывал под утро. Забирался на русскую печь или в темный угол за печную трубу, подсовывал под голову шапку Ерёмы и задремывал. Шапка пахла табаком и старой, пересохшей кожей. Ерёмы давно не было на свете, четвертый десяток, а горьким табаком по-прежнему пахло. Просто Ово хранил кисет Ерёмы, испорядку доставал его из укромного места, насыпал щепотку табаку в Ерёмину шапку, сворачивал коробочкой и дремал на ней, подложив под голову. И снился ему Ерёма, снилась его прокуренная трубка с искусанным мундштуком, снились узловатые пальцы с желтыми ногтями, и дым, и борода. И во сне они переплетались друг с другом, как переплетаются ветви, и глаза Ерёмы глядели, как из куста, и улыбались.

Табак Ерёма растил на грядке, осенью сворачивал в тугие свитки, катал крепко между ладонями, потом резал ножом на еловой ставице и сушил на повети. Ово ворошил табак, пропускал сквозь пальцы, пересыпал из ладони в ладонь, чтобы проворнее

сох, и терпеливо сидел на скрипучем стуле, слушая острым ухом, как шевелится и подсыхает табачная кроха.

Табак сох медленно и так же лениво, как порой шел дым из Ерёминой трубки. Тогда Ово, теряя терпение, дул на него и громко чихал. Невестка Саша вздрагивала и говорила:

— Еремей Ефимович! На повети кто-то чихает!

— Кот! Кто же еще?

— Кот дома, — испуганно оглядывалась Саша. — А там тогда кто?

— Да мало ли кто! — отвечал Ерёма и подмигивал.

Ночью Ово выколачивал трубку о край скамьи, вытрясал твердые угольки, острой щепинкой протыкал мундштук, дул сквозь него воздух, и губы потом весь день хранили горечь табака. А еще бывало и так, что сидел Ово на взвозе всю ночь, покусывая, пыхтел в выскобленную трубку и представлял, что он и есть сам Ерёма.

Давно нет Ерёмы, но есть его сын Овдей. Ово уже семьдесят людских лет при нем, при Овдее. И Ово очень нравится, что у них такие схожие имена.

— Овдей! — зовет Ово, пропевая первый звук его имени. — Овдей!

Овдей старый и живет сам по себе, как ему можется, и никому не мешает. Он один в деревне, и все дома вокруг уж который год пустые — кому мешать-то?

Овдей просыпается рано, ворочается долго, поскрипывает железной сеткой кровати, потом встает. Льет воду в китайский чайник, нажимает кнопку. Раздергивает занавески и глядит в окно.

«На что там глядеть? — думает Ово. — Всегда одно и то же».

Но и сам глядит, тычется макушкой под локоть Овдея.

— Ну и слава Богу, — говорит Овдей. — Еще один день. Вот так все понемногу.

А чайник гудит, шумит, как самолет в небе. Золотит солнце доски стола. Ово садится возле Овдея на лавку. Ему и глотка довольно и от крошки хлеба сытно. Ему просто посидеть рядом...

Осень нынче чистая, как промытое стекло. Что ни день, то небо синее, смиренное, но все равно не та синева в небе, а ровно старая, нажившаяся. Ветер, как синица, возится, то здесь,

то там стряхнет листья. Затолкется листик, заколотится, туда-сюда падая, и на землю свалится. И так ослепительно тихо. И от чистоты и тишины этой все вокруг еще бреннее кажется, печальней, словно последняя эта чистота, последняя грусть, последняя возлюбленная тишина. Ово хрустит листьями — подморозило. Подкрадывается к муравейнику. Втыкает острую травинку и глядит, как муравьи лезут на самый кончик, а один, самый первый, поднимается на задние лапки и стоит собачкой.

— Овдей! — говорит Ово. — Снова ведрие буде!

— Хорошо, — откликается Овдей, хотя и не слышит Ово. Набирает охалку дров и в избу тащит. Ово бересту подкладывает, лучину подсовывает. Спичку чиркает. Огонек занялся. Будет Овдей кашу варить, в звонкостенном чугуне картошку ставить.

Сидит Овдей, на пламя глядит. Прогорела за годы его борода, белой стала, как бумажный пепел. И кажется Овдею, что все, что было с ним прежде, как бы и не с ним было, чужим стало, посторонним, по ту сторону, и теперь закрыто наглухо. А настоящее только и есть, что этот день с этим огнем, с этим чугуном, где в горячей пене шипит картошка. Вот это только и осталось... А ведь таким же утром лет десять назад Саша поставила на стол глиняную крынку с пшенной кашей, надорвала пальчиками жаркую корочку и уронила с ложки желтое масло, и он так отчетливо запомнил и клеенку клетчатую, и где лежал хлеб, и где стояла его кружка, и чашка Сашина. И как она подошла и опустила ему на плечо руку.

Овдей наклоняется, подхватывает чугунок, тычет щепинкой в картоху: нет, тверда пока! Ладно.

Ово чувствует, что плохо сегодня Овдею, не такой он, наломался вчера на поле. Давеча говорил Серёжа Мурин: «Зачем тебе рóстить картошку, много ли тебе одному надо, мешка три? Так я привезу!»

— Так на всю деревню-то одна полоска и осталась. Жалко! — кручинится Овдей. — Зарастет травой-то!

Когда Овдей премалым был, расплачется, расстроится из-за чего-то, Ово ночью придет, затаяет песенку, заплетет в косичку мягкие волосики, и успокоится все, уладится. А теперь как? Сиди и вздыхай только, посматривай в глаза Овдеевы.

Вчера вместе картошку докапывали, не стал Овдей Мурина ждать. Ворошил киркой уже прохладную, рассыпчатую землю. С гнезда мало пришло, однако все крупная, тяжелая, белая. Нароет Овдей картохи, а потом бродит по полю, собирает в ведра. Тихо на поле. Хоть бы ветерок какой! Или птица. Брякает картошка о стенку ведерышка, одна, другая... Стукоток одинокий далеко по горе слышен. Бросит картошку Овдей, и Ово бросит. Овдей оглянется: нет никого! Но говорит, улыбаясь:

— Ну, давай, давай, пособилай маленько!

Вчерашнее кострище подгоревшими сухарями пахнет. Полоска земли в густой траве горестная, тихая и словно небу жалуется. Овдей на прежнем месте костерок разводит. Сидит на опрокинутом ведре, нажигает золу да угли картошку на паужну печь. Продрался где-то локоть, вата горелая из рукава торчит. Сухим блеском трава длинная переливается. И небо выгнулось над головой, синее, глубокое, и горько-сладкой листвой пахнет от березы, и томит осенней пустотой сердце.

Засыпает Овдей картошку калеными углями и землей, щурит от дыма глаза, и глаза у него сейчас, как у Махси, такие же покорные.

Сохнет земля на изрытой полоске, светлеет, запекается корочкой.

Безмолвно поднялся с запада самолет, блеснул серебряной стрелочкой, пошел в гору, а следом и гул поднялся, побежал свою стрелочку нагонять. Выпрямил Овдей спину. Запел пронзительно телефон в кармане.

— Принимай самолет, Овдей! — закричал в трубке Дмитрий. — Принимай! «Азия Эрлайн» летит. Аэробус А350 тире 941. Из Лондона в Сеул. Слышишь?

— Слышу, — щурится в небо Овдей. — Вижу!

— Я его тоже вижу! Как высоко летит! Сорок тысяч футов. Скорость 470 узлов. Хвост-то у него, знаешь, какой? Красно-желто-черный. Не увидеть нам, правда, оперенья его, но ты представь только, Овдей, представь! Принимай!

— Принимаю, — смеется в бороду Овдей.

— Здорово, Овдей! А? Оба один и тот же самолет видим!

— Да! Словно рядышком стоим.

— Рядышком! — радуется Дмитрий. — Всего-то сто тридцать километров до тебя! Чего там у себя делаешь?

— Картошку докопал.

— И я тоже. Уродилась ли?

— Уродилась! У гнезда немного, но крупная!

Летит самолет, скользит утягиваемый ветром, реактивными моторами на восток. За ним след, напряженный, на лету разматывается. А что у него под крылом? Лес бескрайний, болота желтые, ниточкой серебряной река Евда вьется, солнцем вздрагивает. И никто из летящих в далекий Сеул, где и ночь, поди, сейчас глубокая, про Овдея не ведает. Кто он для них? Персть лесная. Не разглядишь с такой небесной стрехи ни Овдея, ни его избы, ни его бедной полосочки...

— Ты позвони через часок мне, — просит Дмитрий. — От тебя ко мне самолет пойдет. Так я приму! Боинг будет, три семерки. У него полоса синяя на хвосте. Курс, значит, сейчас погляжу, 162. Шанхай — Амстердам. Не пропусти только, позвони!

— Не, не забуду!

Блеснул самолет над лесом и упрятался за край земли. А Овдей еще долго сидел, уронив на колени руки, думал, как там Дмитрий у себя на Двине живет. Наверно, доски строгают для сарайки новой. Хрустит сосновыми стружками. Вот бы посидеть с ним за столом да махонькую выпить. Да и со стройкой помочь, самцы на столбы накинуть. А чтоб добраться, надо до Архангельска на север ехать, а оттуда на юг в обратную сторону скатываться. Два дня на дорогу! А ведь рядышком, на прямую-то, через леса да болота...

Пересыпал Овдей картошку в широкий кошель, в котором Саша сено таскала, повез на подклет. Чивиликали колеса. Ветер тихий, как ручей, по траве стелился. Ово сзади тележку толкал. Видел, как прихватило у Овдея спину...

Дремлет в печи твердый березовый уголь. Восьмой час часы пробили. Овдей сапоги как на силу надевает — ровно чужие с утра ноги. Шапку, не глядя, на печи нашаривает. Приставку к дверям ставит. И Ово то же: затянул Еремеев поясок потуже, оглядывается, не забыл ли чего? И спешит за Овдеем, знает, куда он пошел.

Бредут они сначала мимо домов. Ветер отдувает полу куртки. Травой пахнет густой, перестоялой. Конский щавель вызолотился до ржана. Дорога совсем заколодела, заглохла. Если б не ходили по ней дважды в день, в конец заросла бы.

В рощицу входят, как в золотую комору. Овдей останавливается у худенькой осинки, запрокидывает голову, любуется на пролеты ветвей.

Сдал в эту осень Овдеюшко, ходит, как деревянный. С трудом сядет, с трудом и поднимется...

— Палки возьми, — советовал вчера Дмитрий, как «Боинг» проводили. — О четырех ногах будешь!

— С палкой-то совсем обезножу! Нет, с палкой я не пойду. Пока ходится, так ходить буду!

Вот так и ходят тихонечко: постоят да снова пойдут.

Трава шуршит под ногами Ово. Овдей обернется — нигде никого, но словно тянется глазами к Ово. Идет, куртка посвистывает, размахивает руками, загребает ладонями воздух, как воду черпает. Ишь, под горочку-то разошелся! А ну как в колене подломится?

Колокольня старая, шестнадцатого веку, восьмиугольная. Венцы понизу черные, будто обуглились. И к Евде вся наклонилась. У входа камень, широкий, огромный, в серебряных искорках. И следочки на нем махонькие отпечатались. И все в деревне, когда жили еще, верили, что это ангел дивноочитый, двукрылый пробежал босыми ножками. Овдей кланяется камню, проводит рукой по следочкам, будто гладит. Ово за спиной топчется. Уж теперь он не выше травы стал, поглядывает в церковные окна, боится незримого, светом блещущего.

На верх колокольни, где огорожа, три лесенки ведут. Высокие, крутые. Овдей еще в прошлом годе новые ступеньки, плашки, врубил. Из белой елки повытесал. Сейчас помолится. Голос-то у него, когда молится, шелестит, как солома. Подымет на колокольню с Божьей помощью, где на ногу встанет, где на коленку обопрется. Отвяжет просмоленную веревку, помолчит, подумает да и ударит легонько. Старинный колокол, зазвонный, язычный, всего один и остался. Его, остальца, Овдей припрятанным в церкви нашел, когда проверял своды. Выволок на свет белый, подивился

письменам старинным, вычистил, выскреб да на колокольню поднял — оборвал спину, неделю после пластом лежал.

— Дон-н! — разнесется, пробуя небо, над деревней. — Дон-донн! — полетит уверенней над полем, над лугом, над полоской раскопанной.

Звенит колокол. Радуетя. Бьется сердце. Жива еще деревня. Жив еще Овдеюшко, слуга божий, ее насельничек. Каждое утро к девяти на колокольню приходит, топчет, топчет свою тропку девять лет, вся трава за лето повымнется. Звонит, звонит в звонный колокол.

Ово сидит внизу на заветном камушке. Вложил ладошку в следочек ангела, и будто греет что-то ладонь снизу и к сердцу тянется. А спиной чувствует, глядит кто-то, повернуться страшно, и знает Ово, кто глядит на него.

Устал Овдей. Заныла в плече рука. Оперся на огорожу. Избы вдалеке, как серые камушки в траве текущей. Река синяя, и синь густая, уже по-осеннему, вода медленная, за собой тянет, вытягивает. А колокол гудит, звенит тонко, слабеет медным голосом, и Овдей слабеет, за колоколом в тишину утягивается.

Нагрелось дерево, и хорошо руке дрожащей от этого деревянного тепла, любви последней, и всякий раз отчего-то думается, как назвонишься досыта, — наглядеться бы! Наглядеться! Не упустить ничего, ни большого, ни малого, чтоб потом, когда и привстать не сможешь, только и помнить вот это: Евду изсиня-синюю, небо с колокольни до боли близкое, рощицу с мягким шелестом, сосенку одинокую. В шелест бы этот уйти золотой, ветром стать... Господи, укрепи меня! Отчего все так непоправимо?

Спускается вперед спиной Овдей, ногой опоры нащупывает, а раньше-то, раньше, как птица, взлетывал. Выбрался, Ово за локоть поддержал справа.

Вечером в шестом часу снова самолет с востока над Евдой поднялся, заиграл на солнышке.

— Дмитрий! — позвал в телефон Овдей. — Принимай самолет-то! На север гляди.

— Ну! — крикнул Дмитрий. И представил снова Овдей, как выбегаает сейчас Дмитрий во двор, выкатывается колобком. Вот и точно: хлопнул дверью, ступенькой скрипнул, травой зашуршал.

— Дмитрий, не торопись, далеко еще!

— Да как же? Не проворонить бы! Ой, вижу, вижу, Овдя! Серебряный такой? И ты видишь?

— И я вижу, Митя!

— И я вижу! Вместе видим, да?

— Будто на одной горке стоим.

— На той самой?

— На той самой. Чего скажешь?

— Нашел! — радостно кричит Дмитрий. — Вот он, на экранчике моем! Токио — Хельсинки!

— Токио? — удивляется Овдей и с любопытством глядит на самолет. — Ишь ты! Даль-то какая!

— Высоко! — соглашается Дмитрий. — Тридцать восемь тысяч футов. Курс 54. Скорость 541 узел. У него на хвосте синяя буква F. Ближе к нему лететь осталось: час — и дома! А то и меньше. А! Время прибытия в порт — восемнадцать тридцать семь.

— Восемнадцать тридцать семь... — отчего-то повторяет Овдей и представляет ясно, как идет на посадку, покачивая крыльями, самолет, как светится сыро-синим иностранная буква на белом киле, как томятся нетерпеливой радостью утомленные долгим полетом люди. И другая жизнь, неизвестная и счастливая, яркая и сильная, шумная, не его жизнь, видится ему. И становится горько и одиноко.

— Сейчас у тебя и второй поднимется! — смеется с восторгом Дмитрий. — Смотри! Москва — Мурманск! Аэробус А320. Зеленый весь, как огурец. Видишь ли его, Овдя?

— Уже вижу, Митя, вижу.

Идет колеей ветер. Выдувает из рожицы облачко желтой листвы. Несет-несет, как птичью стаю. Светятся голубой слюдой окошки. Пуста до самого леса, до самого краешка дорога. И от пустоты этой, от сверкания листвы в солнечном ветре еще горше ощущение одиночества. И не знает Овдей, что ему делать дальше?

— Овдя? Чего ты молчишь?

— Я не молчу!

— Ты не молчи, Овдя! Ты говори! Ты не думай ничего такого. Все хорошо у нас будет. Я с Ниной говорил. Ты приезжай к нам, Овдя! Насовсем приезжай. Будем вместе самолеты встречать!



- Да мы и так вместе встречаем.
- А со мной по-другому будет!
- А ты и так со мной! И так рядом. Рукой подать! Гуси-то летят у вас?
- Ни одного не слышно. Ты приезжай, Овдя!
- Не уезжай, Овдей! — просит Ово и теребит рукав Овдеевой куртки.

Ночью Ово не спал, бродил по избе и, едва рассвело, пошел к Махси. Дом у Махси съезжился, поджался и кровлей, и стенами, будто ему холодно стало. В избе сел на пристенную лавку, огляделся тоскливо. Пусто в избе. Молчит все. Стоит в ковше нетронутая вода.

— Махси! — позвал Ово, хотя знал, не ответит Махси. Качнулась полузакрытая дверь. Ветер метелкой прошелся по полу, вздул серебристые, как иней, пылинки. Уснула Махси.

— Махси, ты где? — он вступил в полукружье белого света.

Где она? Во что она обернулась? Кто она теперь? Ладочка глиняная на выстуженной печи? Веретенце в пустой корзинке? Пряслице белое на столе?

Шуршит ветер.

Плечики у Махси были узенькие, одно выше другого, за спиной горбик, словно котомочка за спиною.

— Я не могу, Ово, — говорит она и тянется к нему взглядом, как и Овдей, знакомо покорным. — Мне не уйти, Ово, мы никуда не сможем уйти — мы приговорены к нашему месту. Я усну! — она опускает голову, перебирает кисточки старенького платка, и в этом тихом перебирании столько тоски, что у Ово перехватывает от отчаянья сердце.

— Кто-нибудь да вернется! — она поднимает на него блестящие от слез глаза. — Кто-нибудь вернется, и я снова буду. Люди порой возвращаются. Я прибралась — заходи и живи...

— Они уже не вернуться, — качает головой Ово. — Мы это знаем. Уже и Кохта уснул, и Первый Оссе. Нигде никого не осталось. Если ты уснешь, Махси, я останусь один.

Махси молчит, и молчание туго упеленывает их. Редкие слезы падают на ее безмолвные руки.

— Как твой Овдей? — спрашивает она и улыбается беззащитной улыбкой, как слепая.

— Ноги болят.

— А дочь?

— Все равно что нет. Она далеко, на той стороне земли, где вода без края. Ты переходи к нам, Махси! — он вглядывается в ее лицо. — Переходи.

— Я не могу, Ово! Когда я проснусь, ты ведь будешь, Ово? Ты ведь встретишь меня, Ово?

Брякает надколотое стеклышко. Бьется, бьется прозрачным сердечком. Волосы у Махси были как трава увядшая. Глаза у Махси были длинные, как коса речная, светлые, как песок речной.

С понедельника потянулись другие ветра. Оголялись осенние рощи, но замирающий, сгасший свет еще шел от земли. Худоба обнаженных осинок удивляла Овдея и мучила. Он подолгу стоял у ворот, навалившись на прясла. И отсюда ясно была видима и накренившаяся колокольня, и беспризорная церковь, и потемневшая лицом река Евда.

Дни укорачивались. Черствели следы на песчаной дороге. Самолеты гудели в слепом небе за облаками невидимо и редко. Простуженный — теперь он простужался быстро — Овдей надевал зимнюю куртку, долго не попадал полкой в замочек — дрожали руки — потом брел до колокольни, и земля ему казалась гулкой и твердой, и громче чиркала по окаменевшему песку палка, и резче скрипели ступеньки лестницы, и веревка казалась тяжелой и жесткой. И даже колокол бил не так, постанывал на исходе, звенел жалобой, и вместе с ним постанывала и скрипела еловая балка над головой. Овдей останавливался, прислушивался к колоколу, и думалось ему, что колокол — это его сердце.

Как все торопливо менялось вокруг: оттаивала крыша и капало медленно то здесь, то там. И отблеск сырого мигающего света вспыхивал и гас на лице Овдея. Борода серебрилась от капель воды. Он расставлял пошире ноги, приседал, будто раскачивал качели, тянул на себя веревку, дергался и раскачивался вместе с колоколом. Колено прожигало болью, и Овдей едва не плакал от немочи.

Ово порывался помочь, но не смел, он боялся и стоял внизу. Наконец все смолкало, и Ово не знал, жив ли Овдей. Но вот скрипела первая плаха, потом вторая. Это Овдей ощупью слезал вниз, спускался, как в темный колодец, как в черную ступу.

Ово подставлял плечо. Оглушенный Овдей спрашивал тревожно:  
— Кто здесь?

Ово молчал. Они брели через рощу, через поле. Это поле Овдей когда-то пахал и хорошо помнил, как завивалась волной тяжелая, перепревшая от теплых дождливых дней земля, как падали, заваливаясь в борозду тонкие осинки и сосенки, и ему отчего-то их было жаль. Из кабины красногрудого трактора он видел родную избу, радостно взглядывал на нее, и от близости родного и доброго и оттого, что Саша, быть может, сейчас смотрит в окно, ему хотелось петь и даже выскочить из трактора и плясать, дурчась, размахивая руками, столько любви неприкрытой билось в его сердце.

Овдей стоял и смотрел на поле. Над головой, за облаками, загремел, раскатываясь, самолет. Овдей набрал номер, экранчик тотчас вспыхнул, но дозваться до Дмитрия опять не удалось. Три дня уж не отвечал Дмитрий.

На закат шел ветер. Нес стужу.

Серёжа Мурин приехал к обеду. И затаскивая коробки с едой на крыльцо, спросил, беспокоясь, Овдея:

— Ты чего, Еремеевич, приболел, что ли? Хочешь, фельдшера привезу?

— Нет! — махнул рукой Овдей. — Что там фельдшер нового скажет? Старый я. Старость это. А какие таблетки пить, я и сам знаю.

— Ты звони, если чего, — попросил Серёжа.

— Я позвоню, — пообещал Овдей. — Чаю, Серёжа, выпьешь?

— Выпью! Вода у тебя в колодце вкусная. Я флягу привез, воды твоей наберу.

— Бери, не жалко! Воды у нас много.

Серёжа вытащил из машины флягу, запустил в колодец тонкий еловый шестик с ведром, вздернул, опружил проворно через край звончатую воду. Запела фляга.

— Тащи, батя, и свои бадейки. Наразу и тебе начерпаю.

В избе развернул туго стянутый платок.

— Пирожки, Овдей! Таня гостинцем послала. Ешь, еще теплые! Лакомься! На Покров к тебе приеду с друзьями, рябов погонять. Таня приедет. Столько их вспугнул, рябов-то, пока к тебе ехал! Примешь ли?

— Приму, Серёжа! Я тебе манок особый вырежу, на рябчика. И еще, Серёжа, ключик-то от церкви у меня вот тут на гвоздике висит, шнурочек пестренький. Вот он гвоздик-то, искать не надо. Так что знай...

Уехал Мурин. В избе полусвет, полусумрак. Дремлет Овдей за столом, все голос молодой слышится. Белеют пустые кружки. Чайник еще не остыл. Ово посидел рядом, пожевал корочку, на чердак убрался, вытащил из берестовой коробки манок — Ерёма, Еремей делал — приложил к губам и подул тихонько. Свистнул манок жалобно, тонко — вот так и рябчик посвистывает, летит сквозь веточки, летит-летит на зов краденый.

И помнил Ово, ровно вчера было: стоял Ерёма на крыльце, озябшей рукой ощипывал с кисти вымороженную рябину, шамкал, сглатывал громко горько-сладкую ягоду.

— Не ешь! Простудишь горло, — укоряла невестка, — а коли ешь, так во рту держи.

— Все равно, — отвечал Ерёма, спускался полубоком с крыльца, шаркал к амбарам и пряслам, сутулил плечи.

У прясел остро пахло растрепанной копной, белые соломины, как коромыслица, висели в черной крапиве.

— Овдя! — позвал он. — Ов-дя! Маночек возьми! На ряба маночек, — и шарил деревянной рукой в кармане. — Я тебе маночек... А где ж он? Овдя? Я ж тебе маночек... — и плакал, уткнувшись в колючее плечо Овдея. И Овдей растерянно ласково приобнимал отца и вскрикивал хрипло и обреченно:

— Будет тебе, будет!

До полночи искал манок Ово, шелестел травой и нашел-таки. Сел под окном, посвистел тихонько: слышит ли? Потом в избе вложил в слабеющую руку Ерёмы.

— Спасибо, Овдя!

— Я — Ово.

— Ово? — прошептал Ерема. — Спаси тебя Господь, Ово!

Лежит манок в ладони, темный, как корочка жженого хлеба. Поглядел долгим взглядом в окно Ово: когда насовсем засыпать, загадалось ему, манком бы представиться. Придет однажды, Бог даст, человек в дом, подует в небо, а я и очнусь для жизни новой.

Спит дом. Овдей на кровать перебрался, укрылся покрывальцем латаным и спит. Пятки серые наружу торчат. Звезды мелкие в небе то вспыхнут, то гаснут — будто камень из камня беззвучно искру выбивает. Это облака идут. Греется манок в ладони. Догорает на столе свечка. Ветром опять провода оборвало.

— Вот и ночь сошла в мою книгу, — говорит Ерёма.

— Как же ты читаешь, ведь ни буквы не видно? — спрашивает, клонясь к нему, невестка.

— А я сердцем вижу.

— Сердцем? А что читаешь такого?

— Евангелие.

— Ты же его всю жизнь читаешь!

— А я каждый день, Саша, новое нахожу. На память-то все знаю, да только бабушка моя получше меня знала. Не так, говорила, на память прочел, а вот так надо. Я потом по свету проверю: а вправду так надо, как она прочла. Непрогрешима память-то у нее была.

Сжимается от жалости сердце Ово, садится в ноги к Овдею.

— Овдей! Ты не спишь? Не уходи от меня, Овдей! Столько всех от меня ушло! Как я без тебя буду? Хочешь, я громовой уголь найду? Положу в твое изголовье, и ты на ноги встанешь! А грибов хочешь? Я соберу и грибов, пусть ты и подумаешь: Мурин принес! Жареху сделаешь, а мне и крохи довольно, да и той не надо. Лишь бы ты был! А помнишь, я утешал тебя, когда ты был маленьким, помнишь, я тебе песню пел...

Не спал Овдей. Сквозь убывающий шум дождя ясно и отчетливо слышен был стукоток частых капель. Потом и капли стихли, и тишина затекла в избу и в него втекла, будто он изнутри был полым, притаилась в глубине и ждала. Присел кто-то в ноги, навалился легкой тяжестью, зашелестел, как ветер в траве, и очнулось сердце, заколотилось гулко, и ушел на время холод.

— Я — Ово, — вздохнул кто-то. — Я твой Ово.

Утром в каждую избу заглянул Ово, в каждую дверь посвистел манком.

— Махси, ты здесь?

Молчит Махси. Белеет пряслице на пустом столе.

— Кохта? Слышишь меня?

Не слышит Кохта. Гремит железка в печной трубе.

— Оссе? Что же ты молчишь?

И Оссе нет. И Клецника нет, и Выгорек, пристенник извечный, пропал бесследно. Стоял во дворе одинокий Ово. Ходил против шерсти солнца студеный ветер, сверкал серебряным блеском.

Овдей на улицу вышел, навалился грудью на лыжные палки, посмотрел на дорогу.

— Нет Митьки, — сказал он громко. — Улетели его самолеты, унесли моего Митьку, прибрали. Меня одного в сторожах оставили.

Стоял, качался, потыкивал в землю палкой.

— Надо идти, — сказал твердо. — Позвонить еще разик. Может, Митька меня там услышит, может, ждет моего звона...

Далеко ли до колокольни идти? Рядышком она. Шатром осиновым накрытая светится. Чиркают по песку лыжные палки. До березки дойти — отдохнуть. До камня дойти — дух перевести. В рощице под осинкой отдышаться. Следочкам ангела поклониться. Набралось в пяточки воды. Возьмешь ту воду, к глазам приложишь — и прозреют глаза. Полдела и сделано. По лесенкам и заберешься как-нибудь. Сам ступени вытесал, свое, топором изваянное, и поднять должно.

Ово, не таясь, обнял со спины Овдея.

— Не бойся, я с тобой! — прошептал.

На колокольне Овдей уцепился двумя руками за веревку, натянул ее своим невеликим грузом и замер. В просветы колокольни заглядывал ветер, покачивал колокол, и вместе с ним Овдей покачивался, словно привязанный к небу.

— А ведь в последний раз, поди, на колокольне стою. Думал об этом, придет однажды. А вот оно, время-то, и пришло. Что ж ты, Овдей Нажогин, готов ли?

Вот она, лежит перед тобой сиротина, твоя деревня. Поля твои, что пахал когда-то. Луг над Евдой, где сено ставил. Саша прибежит на угорышек:

— Овдя! Девять часов! Пойдем чай пить!

Обтирал косу травяным остромком Овдей, шел к Саше на угорышек. И легки, и пусты были его руки, чтобы поднять Сашеньку над землей, понести высоко над тропкою.

— Овдей! — зовет Сашенька. Треплет ветер просвеченное солнцем платышко.

И ударил в ответ колокол, словно ветер качнул — не Овдеевы руки, и разнесся над Евдою горестный звон...

Как вниз сошел, уж плохо помнил. Все как в тумане, все как во мгле. Ово заглянул в глаза Овдея и в них глаза Ерёмы узнал.

Дома прилег Овдей отдохнуть, воды только и испил.

— Митька, — сказал, — я думал, первый помру, а ты вперед собрался. Торопыга ты, Митька. Всю жизнь — бегом... Сразил ты меня, Митя!

В лесу падали последние листья. Пестовник под елями светился, усыпанный каплями. Грибы были дряблы и тяжелы от воды, разве они сгодятся для Овдея?

Все дальше и дальше шагал Ово, давно далеко так не уходил от дома. К Посолодке вышел, где береза стояла, прожженная молнией. Показал ему березу Кохта, сказал, от сей березы громовой уголь любую беду отвернет. Отломил уголь Ово, сказал заветные слова и поклонился березе.

После дождей молчаливо становилось в лесу и неподвижно. Оседал вечерний свет на сосновых иглах. Багула шуршал под ногами, и шорох замирал за спиной, уходил в сумрак. И тревожно, и стыло на душе было. Боялся и не хотел верить Ово, что умрет Овдей, уснет, исчезнет, как сон, как свет, как исчезают звезды, как исчезают воспоминания. И представил себе это Ово, с такой ослепляющей ясностью вдруг представил, что встал пораженный посреди леса, стиснул кулак до боли, и разломился в нем громовой уголь.

В избе Ово наклонился к Овдею, спрятал угольки в изголовье. Однако плохо под вечер стало Овдею. Замирало сердце и тут же в бег припускалось. Знобeya, потянулся он к прозрачному

флакончику с сердечком, но выпал тот из непослушных пальцев, под кровать укатился. Словил его Ово. Как Еремею, вложил в слабеющую руку, и спросил Овдей:

— Кто это?

— Не бойся, я с тобой. Я — Ово!

— Ово! — услышал Овдей. — Я помню, у тебя глаза зеленые, еловые.

В тот вечер нестерпимо ярко светила луна. Дорога белела, прихваченная морозцем. Бежал Ово к Мурину, летел серой птицей, скользил тенью, птицей и в окно стукнулся, забил по дереву, зазвенел стеклами. И услышал Мурин, и догадался отчего-то сразу. Да не успели только.

— Не спи, Овдей! Встань, серебреюшко! — просил Ово, за руку дергал, в глаза заглядывал, но пусто и холодно в доме уж было. Взял Ово Овдееву шапку, прижал к груди и в углу схоронился. Загремело в сенях — приехали.

Через два дня повезли Овдея на покойище. Снежок перелетывал, сидел на желтую глину. Ово сидел под сосною, под ноги смотрел, гладил на колене Овдееву шапку. Вороны кричали, били в верхах тяжелыми крыльями. Лопаты о белые камешки чиркали. Ово зажал ладонями уши, глаза зажмурил. После поплелся за всеми, спотыкался о комья мерзлые. Тихо дышали и говорили люди. Сапоги шаркали.

В избе гремели умывальником, руки к теплой печи прикладывали. Поели немного да водки едва выпили. На крыльце потоптались, замок навесили. И остался один Ово. Глядел вслед убегающим машинам.

Покачиваясь, прижал к лицу Овдееву шапку. Овдеем пахло, будто рядом стоял его Овдя.

— Махси! Больше нет никого. Вот я один и остался. Почему ты ушла, Махси?

Молчал дом. Молчала широкая печь. И двери молчали, и буфет с голубыми стеклышками, и пряслице молчало на холодном столе.

На ночь Ово забился за печь. Под головой шапка Ерёмы. У груди Овдеева шапка. За спиною совик Ефима. Под ладонью



колпак Андрея. Все они тут. Федул, Мартимьян, и Марк, и Павел. Все вместе, все рядом. Никто не умирал. Никто.

Проснулся Ово. Снежок падал. И светло и бледно было в избе от раннего снега. Подтянул гирьку Ово, наобум перевел стрелки. Натянул на голову шапку Овдея и, жмурясь, пошел к колокольне. Скрипел снег под ногами. Белый, как заячья шубка. Растает скоро — оттого и скрипит.

Укрыл снег и дорогу, и рощицу, и следочки ангела присыпал густо.

Остановился Ово, храбро поглядел на окно церковное. Темнели окна.

— Я — малый! — сказал Ово. — Я — низкого рода, но я хочу пройти. Нет никого. Я один остался. Я — последний. Овдея нет, теперь я за него буду. Я буду звонить в колокол. Дай мне пройти.

И отошел незримый и светлый, и потянул Ово на себя двери и наверх поднялся, как три дня назад подымался Овдей. Отвязал веревку — Овдей привязывал! На затылок сдвинул великую для себя Овдееву шапку, заглянул под колокол в зеленый сумрак и качнул било. Очнулся колокол, откликнулся тонко. Улыбнулся Ово и ударил в полную силу. И запел колокол, полетел звон над Евдою, полетел над рощею, над деревней.

— Мое имя Еловый. Но все зовут меня Ово. Я здесь живу.